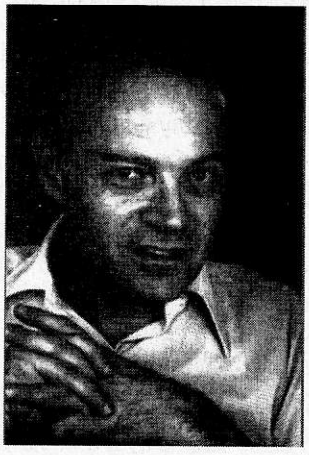
Дан Пагис



Стихи из трех книг

Перевод с иврита и вступление Никиты Быстрова

Одно из общих мест в критических статьях о Дане Пагисе (1930—1986) — сравнение его поэзии с герметичной кристаллической структурой, похожей на тот драгоценный камень, который как бы оживает и наделяется речью в программном пагисовском стихотворении "Двенадцать лиц изумруда":

> Вы намерены отыскать свой образ
> в моем.
> Напрасно. Я не оставлю в вас следа,
> вы никогда во мне не были.
> Зеркало напротив зеркала напротив заколдованного зеркала,
> я отражаюсь в себе.

"Когда я пытаюсь размышлять о Пагисе-поэте, — пишет Гершон Шакед, — первая мысль, которая у меня возникает, это мысль о кристалле. Его жизнь, творчество, его мир всегда казались мне некими кристаллами. Под их поверхностью, подобно лаве, текли потоки боли. За гранью времени, застывшего и превращенного в классический стих, кипели огненные моря страшных воспоминаний, исторических и биографических, и только сдерживание их энергии позволило ему как-то ужиться с ними". Говоря о "страшных воспоминаниях", Шакед, несомненно, имеет в виду память о

© Дан Пагис, наследники, 1975, 1982, 1987
© Никита Быстров. Перевод, вступление, 2022
Стихи публикуются с любезного разрешения наследников Дана Пагиса.

войне, о трагической судьбе семьи и всей еврейской общины буковинского города Радауца, о концентрационных лагерях в Транснистрии, где будущий поэт еще подростком провел целых три года, с 1941-го по 1944-й. Эти воспоминания он долгое время гнал от себя — по его собственным словам, вплоть до процесса Эйхмана, а судя по всему, и еще дольше, — хотя во многом именно они и определяли его вполне благополучную "взрослую" жизнь (достаточно напомнить, что он был профессором Иерусалимского университета, признанным историком литературы, известным поэтом)[1]. В интервью Илане Цукерман (1983) Пагис признается, что если в первых двух своих книгах он почти не осознавал, как мощно и неотступно влияет на него пережитое во время Катастрофы, то в более поздних текстах пытался уже сознательно "упрятать эту тему вовнутрь" и "не только выразить ощущение ужаса, но и победить его и каким-то образом остаться в живых". Отсюда и "кристалличность" пагисовской поэзии: для того чтобы "ужас" не прорывался через стихи напрямую, его надо было заключить в иную тематическую оболочку, замаскировать "нейтральными" сюжетами, сковать намеренно бесстрастной речью — без тени исповедальной экспрессии, ценимой в тогдашней израильской поэзии, — и тем самым заставить его замолчать или, по крайней мере, придать ему косвенное, максимально неопасное выражение.

Характерная примета "кристаллического" мира — движение по замкнутому контуру. На первый план здесь выходит время, в котором настоящее в разных конфигурациях возвращается к прошлому, а прошлое просвечивает в настоящем, зачастую просто сливаясь с ним. Так движется экклезиастовский ветер в "Ветре переменных направлений" — идет по одним и тем же кругам, "от ужаса пустоты" устремляется в пустоту и при этом мечтает обрести покой в "пузыре", замкнутом внутри стеклянной стены. В другом стихотворении публикуемой ниже подборки герой встречается с самим собой в собственном детском образе, и эта встреча словно бы замыкает круг его жизни, подобно тому, как и в одном тексте "американского" цикла из книги "Синонимы" последний взгляд героя-фотографа, дождавшегося наконец "подходящего света", отождествляет снег зимнего Бруклина со снегом давно покинутой родины:

1. Ада Пагис, его вдова, так пишет об этом в своих воспоминаниях: "...в спокойной атмосфере еще отчетливее проявилось его сиротство. Он был одинок, как одиноки вернувшиеся из преисподней в мир, где все идет по-прежнему, и увидевшие, что между ними и этим миром пролегла пропасть. Пусть вся жизнь у них впереди, пусть они еще познают радость и покой – реальность непоправимо от них ускользает. Они похожи на Хони ѓа-Меагеля (легендарный мудрец, герой талмудической аггады. – *Н. Б.*), который проспал семьдесят лет, проснулся в чужом мире, и крик его "Это я – Хони ѓа-Меагель!" ему не помог. Ни один человек им не поверит, и сами они перестанут верить собственному голосу. Они пройдут по земле как порождения чьей-то мрачной фантазии, и каждый встречный будет спрашивать их, действительно ли они существуют".

И вот как будто тот же иудейский снег.
Ослепительное сияние,
предельная обнаженность.
На снимке выходит лишь
белый прямоугольник.

И это — не аллегория,
ибо я
наконец-то возвращаюсь домой. Вслед за мной
ковыляет серо-белая веселая шеренга — чайки
от любавических хасидов. Приветственно машут крыльями
и пропадают в снегах, подобно мне самому.

Еще более тесным сближение прошлого и настоящего оказывается в стихотворении о двух половинах человеческого лица, одна из которых "нацарапана" в пещере Альтамира, а другая "вычерчена компьютером" (по-видимому, Пагис цитирует здесь "La Preface" Чарльза Олсона, где с прекрасными рисунками Альтамиры неожиданно соотнесен Холокост, понятый как возвращение в эпоху доисторической "дикости", точнее, как сведение к нулю всей предшествующей истории: "...адрес / Бухенвальд новая Альтамирская пещера / Ногтем они процарапали сцену охоты"[1]). Время, движущееся по кругу, совершенно исчезает, коллапсирует в таких текстах, как "Рот Сатане", и в них же открывается тайна пагисовского "кристалла". Когда герой этого стихотворения говорит: "...я... / обезглавлен / повешен / сожжен...", мы понимаем, что в его существовании время — чистая иллюзия, и он вечно пребывает один на один с тем ужасом, который давно его уничтожил.

Из книги "Мозг" (1975)

Ветер переменных направлений

1

Пока еще я — буря на нулевой отметке,
почти дыхание.

2

Кружусь, кружусь
и возвращаюсь на свои круги.
Быть может, зря.

1. Перевод А. Скидана.

3

Через открытое окно я вижу
просвет
между столом и шкафом.
Подкравшись, дую,
на парусах гардин
вплываю внутрь, иду,
полный
любви.

4

Порой, вот как сейчас,
я — дуновение с юга,
или сомнение с юга. Ранним утром
пролетаю меж иглами сосны,
скольжу по роще,
внезапно поворачиваю вспять.

Я знаю, мне никто не доверяет.
Бдительная армия ртутных часовых,
курсоров направления и давления,
следит за мной, толкует меня, гадает,
чем стану я через миг,
в какое впаду безрассудство.

Но зачем? Все
мои направления понятны:
от ужаса пустоты
я устремляюсь
в пустоту.

5

Юг. Пирамиды песка ищут могилу.
И вдруг — воздетая рука сияющего жасмина.

Запад. Океан, йод и зеленоватая горечь.
И вдруг вестью фосфора высвечен горизонт.

Север. Запертый небосвод. Город лука и город
копоти.
И вдруг — божественно зоркая звездочка снега.

Восток.

6

Старинные карты изображают меня
в виде мальчика-ангела. Я обращен к себе самому:
две, а то и четыре пары младенческих лиц,
раздувая щеки, дуют друг на друга
с окраин мира к центру.

Но сейчас, на пороге лета,
я вращаю розу ветров,
будто озорной бумажный флюгер.

7

Второе или третье детство
с юго-юго-востока:
устраиваю переполох на улице
(человек испуган: где моя кепка?
кепка испугана: где моя голова?).

А вот
и знакомый дом. Как он состарился!
Стучу в пустое окно, жду,
затаив дыхание:
кто?

Затем — парк. Над водой
осторожно дую
на бумажные лодочки.
Новые дети бегут за мной. Как легко
ловить меня целыми горстями!

8

Разные народы называют меня по-своему:
сирокко, хамсин, борей —
так исчезает имя мое средь моих имен.

Мне все равно, в самом деле, все равно.
Ибо место мое — куда,
а возвращение мое — когда.

9

День — как литая глыба
стеклянного моря, стеклянного неба,

и чайка, распятая посередине,
и парусный кораблик, замерший
в узком проливе —

но это лишь обман зрения,
мнимая тишина:
змея воздуха,
обвившись вокруг себя,
подстерегает
собственный хвост.

10

От ужаса пустоты
я посвистываю в лесу, шуршу в трещинах стен,
шепчусь в бумаге.
В копне волос могу я даже молчать.
Не могу лишь задерживаться,
на что не ропщу.
Да, дорогие мои, я уже далеко. Меня нет.
Здравствуй, здравствуй, то, что вдали,
и то, что еще дальше.

11

Теперь, с вторжением зимы,
пока я не разделен на множество бурь,
улучаю минуту
и предаюсь мимолетной мечте
о вселенском покое
воздушного пузыря, что замкнут
в некой стеклянной стене.

12

Север и северо-запад — суровые господа.
Я был призван вернуться
к вам, бессчетные батальоны воздуха.
Собираю силы на склоне горы
(трава набегает на траву),
поднимаюсь
(брошенная газета взлетает, возвещая мое появление),
иду
в сумраке полудня.
Острый луч прорывается

сквозь брешь в облаке,
высвечивая цели:
белеющая стена,
бумажный город,
но в центре вихря –
безмолвие.
Горящая свеча, чье пламя – золото безмятежности.

Буря на нулевой отметке.
Почти дыхание.

Из книги "Синонимы" (1982)

Ноябрь семьдесят третьего

Ты говоришь на очень древнем языке.
Месячной давности[1]. На мертвом. Забытом.
Отныне все обеты слов
недействительны.
Ты тщишься их исполнить:
против своей воли
ты хранишь бесполезные имена.

Тело, что в прах сожжено,
и тело, чей номер стерт.
Глупый человек, ты сидишь
и называешь их по имени:
против своей воли
ты хранишь бесполезные имена.

Вот поименный список –
ты до сих пор зовешь его: они?
Вот письмо, только что полученное, –
ты до сих пор зовешь его: ты?
Имена, бесполезные имена.

Машина свободы

В клетке снежной сибирской лисы,
знатной пленницы,
установлена машина свободы.

1. Очевидно, имеется в виду Война Судного дня (6–23 октября 1973 г.), произошедшая за месяц до времени, обозначенном в названии стихотворения. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Это железное колесо диаметром 90 см,
по окружности — тонкая стенка шириной 30 см,
как у барабана;
внутри — опорные выступы
и воткнутая в стену ось — на ней колесо вращается.

Всякий раз, когда сибирской лисе становится скучно,
она заскакивает внутрь
и бежит.
Машина свободы создает
головокружительный путь
для всех четырехсот ее лапок,
бегущих, как ветер,
под серебристым телом —
обратно
на Крайний Север.

Колесо смазывают каждую неделю.

Р*азделение*

Лицо не симметрично. Одна половина
грубо нацарапана в пещере Альтамира,
рядом с охотой на буйвола. Другая
вычерчена компьютером.
Резкая морщина, идущая поперек лба,
отделяет их друг от друга.

И*нформация*

Шимону Галкину[1]

Что нового на берегу? Извилистая тропка,
проложенная песчаной змеей.
Убежище рака-отшельника, устроенное в теле
пустой раковины — хорошо ему, живому,
в доме мертвеца.
Тяжелый ботинок.
Внезапное разрушение, грозящее муравейнику.

Что нового на берегу? Гигантский перламутр
наплывает и раскалывается: Афродита — дивная
плоть — рождается в пене.

1. Шимон Галкин (1898–1987) — израильский поэт, романист, переводчик, литературовед.

Со своим многопарусным флотом Александр
устремляется
к завоеванию мира.
Останки танковой гусеницы
все больше напоминают позвонки динозавра.
Самолет эф-15 взлетает, устаревает,
исчезает.

Что нового на берегу? Извилистая тропка,
проложенная песчаной змеей.

Визит к физику

В его комнате на черной доске,
в длинной формуле, стремящейся к нулю,
исчислено время.

Он озабочен. Подавая мне кофе
и не прерывая беседы, он бросает полный сомнения
взгляд
на конец формулы,

встает, берет губку, стирает, оставляет
правильное решение:
чистую доску.

С виноватой улыбкой возвращается к столу.
Но оба мы знаем, что случилось:
время оказалось фикцией и исчезло.

Мы сидим друг против друга.
Он читает в моих глазах
историю погасших звезд,
а я гадаю по его черепу, прозрачному,
как хрустальный шар.

Сентрал-парк, вечер

Откуда-то я знаю этот парк: сахар и лед
и щепоть копоти в белизне. Небоскребы
вздымаются в щедром равнодушии, синеватые,
по-зимнему спокойные.

Окна тут и там все еще отражают —
будто случайно, но со всей полнотой вольного
блеска —
закатное солнце декабря

и уже сияют навстречу
будущему, что устроилось здесь на ночлег.
Мой давний американский сон. А тем временем

статный усатый старик наблюдает
за катающимися на коньках. Дедушка?
Его здесь не было. Не было и меня.

Вот по зеркалу льда, описав лихую дугу,
бежит ко мне мальчик.
Моя шапочка. Шерстяной шарф в полоску.

Лицо к лицу — пылает, смущенное встречей,
и, уже отдаляясь, вполоборота, я или я
быстро говорю: не просыпайся.

Зимняя птица

Из заснеженной рощи на окраину Манхэттена
прилетает
зимняя птица. Я ждал ее семь лет,
до этого тихого вечера, застывшего
силуэтом небоскребов на горизонте.
Мы были весьма пунктуальны. Я пересек океан,
она перескочила через сугроб напротив,
смотрит на меня, склонив голову,
и говорит:

Нескладный человек, живущий сомнением,
для тебя я растила перья,
для тебя острила клюв,
для тебя строила легкий полый скелет.
Вглядись хотя бы на миг в этот лиловый закат.
Ты хорошо знаешь, что должен
начать все с нуля.
Смотри, ты оторвался от земли, ты летишь
ко мне.

Из книги "Последние стихи" (1987)

Рот Сатане

Стоя перед гильотиной,
Дантон сказал: "Глагол 'гильотинировать'
(этот совершенно новый глагол)
ограничен спряжением по времени и лицу,
ибо в прошедшем времени я не успею сказать:
я гильотинирован".

Суждение пусть и остроумное, но наивное.
Вот я (не будучи кем-то особенным)
обезглавлен
повешен
сожжен
расстрелян
зарезан.
Забыт.
(Зачем я открываю рот Сатане[1];
он еще, чего доброго, вспомнит,
что хотя бы в моральном смысле
я до сих пор — победитель.)

Конец зимы

Милый снеговик,
твои глаза-угольки в будущем видели темноту,
только темноту. Но как они были бесстрашны:
ты никогда не моргал! И посреди лица
нос все еще торчит пессимистичной морковкой.
Радуйся, юноша славный, на старости лет.
Мы с тобой и впрямь достигли конца зимы,
пусть мы еще меньше, чем прежде, еще слабее,
но оба мы знаем:
были прекрасны твои зимние дни,
будет прекрасно и наше лето.
Зачем мы ждем его на заднем дворе?
Давай улизнем отсюда уже сейчас,
до весенней распутицы,

1. "Не открывай рот Сатане" — идиома, предостерегающая от произнесения ненужных или неосторожных слов.

помчимся, резвые и веселые, вниз по улице,
и дальше —
к широкому морю, если оно действительно есть
на свете.
А завтра скажут по радио,
что навсегда останутся неузнанными наши следы[1].

Столовые приборы

Сидит за накрытым столом,
берет ложку, отражается в ней,
как в ручном зеркале.
На выпуклой стороне напротив него
помаргивает пухлая гуттаперчевая физиономия.
Быстро переворачивает.
На вогнутой стороне
ухмыляется карлик, стоящий на голове.
Не я, смеется он про себя, не я.

Берет нож, отражается в нем,
видит на прямом лезвии
свое лицо, и это его лицо, свой рот, и это его рот.
Быстро переворачивает.
Опять его лицо и его рот.
Нет, протестует он, не я.
Кто знает,
что еще покажет вилка.

1. В последней строке — перифраз Пс. 76:20: “Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы”.